

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



К. М. Станюкович
**МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Константин Станюкович

Морские рассказы (сборник)

Издательство «Детская литература»

Станюкович К. М.

Морские рассказы (сборник) / К. М. Станюкович — Издательство «Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-004681-0

Герои рассказов К. М. Станюковича – матросы и офицеры, умеющие побеждать опасности и выходить с честью из труднейших положений. Для среднего школьного возраста.

ISBN 978-5-08-004681-0

© Станюкович К. М.

© Издательство «Детская литература»

Содержание

К. М. Станюкович	7
Морские рассказы	12
«Человек за бортом!»	12
Ужасный день	26
Конец ознакомительного фрагмента.	36



К. Станюкович

1843—1903

Константин Михайлович Станюкович

Морские рассказы

© Асанов Л. Н., наследники, составление, вступительная статья, 1989

© Стуковнин В. В., иллюстрации, 2011

© Оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2011

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

К. М. Станюкович



Прошло уже более ста лет с тех пор, как появились в печати первые морские рассказы Константина Михайловича Станюковича. Всё новые и новые поколения ребят читали их и представляли себе плеск океанских волн, свист ветра в снастях, залиvistые боцманские дудки, хлопанье громадных парусов над головой, мечтали о дальних морских дорогах.

Многие замечательные моряки впервые почувствовали тягу к морю, читая книги этого писателя. Да и тот, кто, повзрослев, стал человеком совсем сухопутным, сохранил с детских лет в памяти образы его рассказов: простодушных самоотверженных матросов, суровых боцманов, бывалых офицеров – то искренних и дружелюбных, то высокомерных и жестоких...

А между тем история появления первых морских рассказов Станюковича не менее удивительна, чем многих других его сюжетов.

Читая описания теплых морей, далеких гаваней, где мимо бортов русских судов проплывают кайманы, блестя в темноте рубиново-красными глазами, где днем лучи палящего солнца в считанные минуты высушивают свежевывытую палубу, где вздымают безжалостные ураганы океанские волны, – читая эти страницы, легко представить себе, что где-то там, на дальних широтах и меридианах, и писал Станюкович по горячим следам событий свои рассказы – так наглядно, так явственно запечатлен в них матросский уклад жизни, быт парусного корабля. Легко представить себе эту рукопись, разложенную на столике в офицерской каюте, куда через приотворенный иллюминатор доносится с берегов чужой земли манящий аромат неведомых цветов... Но нет, на самом деле все было не так. И чтобы представить себе обстановку, в которой создавались первые из морских рассказов, нам надо перенестись за многие тысячи верст от океанских берегов, в Азию, где на крутых берегах широкой реки высится старинный русский город Томск.

По пыльным улицам его, мимо приземистых домов, срубленных из вековой сибирской лиственницы, проходил невысокий, изящно сложенный человек с вьющимися каштановыми волосами. Он то спешил в редакцию местной «Сибирской газеты», то на почту – получить вести из столицы, то в полицейскую управу – отмечаться, поскольку жил он здесь на положении ссыльного.

Как же занесла его судьба в этот далекий город?

Константин Михайлович Станюкович родился в 1843 году в городе Севастополе. Город этот расположен в Крыму, на берегу глубокой бухты, удобной для стоянки кораблей, и в те годы он был главной базой русского Черноморского флота. Отец Константина Станюковича был известным моряком, в годы детства будущего писателя он занимал посты командира Севасто-

польского порта и военного губернатора Севастополя. Характер отца и весь домашний уклад были через много лет описаны в рассказе «Побег», включенном в этот сборник.

Косте шел одиннадцатый год, когда началась Крымская война. Англия, Франция и их союзники напали на Россию, высадили войска в Крыму. Началась героическая оборона Севастополя, длившаяся почти год. Мальчик стал не только свидетелем грозных военных событий, но и участником их: он готовил перевязочные материалы для раненых и сам доставлял их на позиции. За участие в войне он был награжден двумя медалями.

Вскоре после окончания войны Костю отдали в Пажеский корпус, а в конце 1857 года он был переведен в Морской кадетский корпус, готовивший будущих офицеров флота. Казалось бы, судьба моряка была предопределена для юного Станюковича. Но дело в том, что Станюкович был человеком идеи. Еще в детстве он ощутил, что порядочный человек не может спокойно существовать, когда рядом люди живут в страданиях и муке. И у каждого есть свое лицо, свое имя, своя суть. Он с юных лет запомнил жестокость, царившую во флоте и армии, узнал о суровых наказаниях, которым за малейшие провинности подвергались матросы. Сегодняшний стойкий воин, храбрый защитник Отечества завтра должен был безропотно сносить измывательства какого-нибудь негодяя в мундире!.. Мальчик жил с душевной раной и мечтал о том, что сделает что-нибудь доброе, что-нибудь полезное для людей. И что же – он попадает в училище, где царят грубые казарменные порядки, где, кажется, все делается для того, чтобы вытравить из душ воспитанников светлое начало, превратить их в жестоких, бесчувственных военных чиновников, исполнителей чужих приказов. Все это было невыносимо для Станюковича. Особенно тяжелое впечатление произвело на него учебное плавание на корабле «Орел» по Балтике. Белопарусный красавец корабль оказался, при ближайшем рассмотрении, чуть ли не тюрьмой для сотен матросов: там царили жестокие крепостнические нравы и дня не проходило без грубой брани, кулачных расправ, жестоких наказаний.

Станюкович задумал дерзкий шаг: он решил, сломав семейную традицию, не идти на флот, как этого требовал от него отец, а поступить в университет. Когда отец узнал об этом замысле, он был вне себя от гнева. Воспользовавшись своими связями, он устроил так, что сын его, не закончив курса, был назначен в кругосветное плавание на корвете «Калевала» и в октябре 1860 года отправился в море. Пол мира обогнул корвет под русским флагом и через девять месяцев прибыл во Владивосток. Это путешествие впоследствии было описано Станюковичем в знаменитой книге «Вокруг света на „Коршуне“» – возможно, лучшим из всех его произведений.

Во Владивостоке Станюкович по болезни был списан с корабля и отправлен в лазарет. Выздоровев, он затем продолжал службу на нескольких военных кораблях, должность «отправлял по своему званию», как говорилось в тогдашних документах. Юный офицер заслужил расположение начальника русской эскадры Тихого океана, который в 1863 году отправил Станюковича со срочными бумагами сухим путем в Петербург. Так закончилось трехлетнее плавание будущего писателя.

За эти годы совсем еще молодой человек посетил разные страны, повидал самый разный уклад жизни, мир и войну, перенес бури и штилы, близко общался с простыми матросами. Большое значение для будущей писательской работы имело то, что Станюковичу пришлось служить на разных судах. Он видел, как отличаются порядки, вся корабельная жизнь, в зависимости от того, кто стоит на капитанском мостике – просвещенный, гуманный человек или грубый, жестокий невежда.

Станюкович пишет первые свои произведения – статьи и путевые очерки, которые печатаются на страницах «Морского сборника».

Вернувшись в Петербург, он хочет выйти в отставку и всецело заняться литературной работой. Решение это вызвало взрыв отцовского гнева. Отец видел в Константине продолжателя традиций «морского рода» Станюковичей. Но теперь грозному адмиралу противостоял

уже не юноша, а многое повидавший человек со сложившимися убеждениями. Семейный конфликт завершился победой сына: он ушел со службы и с этого момента должен был сам зарабатывать себе на жизнь.

Чтобы поближе узнать крестьянскую Россию, Станюкович становится сельским учителем во Владимирской губернии. Жизненные впечатления этой поры через много лет были описаны в «Воспоминаниях сельского учителя шестидесятых годов». Молодой человек был буквально потрясен нищетой, бесправием, забитостью мужиков, которые после отмены крепостного права попадали в кабалу к деревенским богатым, в унижительную зависимость от чиновников.

Чем он мог помочь этим людям? Станюкович становится журналистом. В своих очерках и фельетонах он стремится рассказать о тяжелой доле простого народа, разоблачить его притеснителей. Он меняет много мест службы, переезжает из города в город. Широкое знание жизни, накопившийся опыт подталкивают его к художественному творчеству. На страницах одного из самых передовых журналов того времени «Дело» он печатает свою первую пьесу «На то и щука в море, чтобы карась не дремал» и первый роман «Без исхода». Так начинается деятельность Станюковича-писателя.

Станюковичем написано очень много. Это целые циклы статей и фельетонов, откликающихся на все крупные события общественной жизни. Это многочисленные повести и романы, в которых действуют представители самых разных слоев России: столичные чиновники и простые мужики, ученые и великосветские проходимцы, помещики и студенты, купцы и адвокаты... Во многих произведениях писатель старался создать образ положительного героя, человека передовых взглядов, который ищет пути разоблачения всякого жульничества, активной помощи страждущему народу.

Все шире становилась известность писателя, но в это же время к нему все пристальнее начинает присматриваться полиция. Полицейским ищейкам удалось установить, что Станюкович, как один из руководителей журнала «Дело», поддерживал связи с русскими революционерами, жившими за границей, печатал их произведения под псевдонимами, помогал им деньгами. В это время судьба нанесла Станюковичу тяжелый удар: опасно заболела его любимая дочь. Писатель с семьей выехал за границу в надежде, что европейские врачи спасут девочку. Но увы, все было тщетно: она умерла. И в тот момент, когда убитый горем отец возвращался в Россию, его при переезде границы арестовали жандармы, доставили в Петербург и без суда заточили в Петропавловскую крепость. Жена Станюковича долгое время не знала о его судьбе: никто не мог объяснить ей, куда так внезапно и бесследно исчез ее муж.

Много месяцев длилось заточение. За это время произошла финансовая катастрофа: Станюкович лишился всего своего достояния, журнал «Дело» перешел в чужие руки. Наконец судьба заключенного была решена: он был сослан на три года в Сибирь, в Томск. Семья писателя, жена и дети, последовала за ним...

По сибирской реке вниз по течению плыл маломощный колесный пароходик. На нем среди пассажиров был и Станюкович с семьей: как лицу «благородного сословия» ему и здесь полагались некоторые поблажки. А на канате пароходик тянул огромную баржу, трюм которой был битком набит ссыльными и каторжными из простонародья. Грязь, теснота, крепкие решетки, преграждавшие выход на палубу... И вот внезапно пароходик насккивает на мель. Баржа, влекомая течением реки, медленно надвигается на его корму. Еще минута – и произойдет непоправимое: суда столкнутся. И если у пассажиров пароходика есть еще какие-то шансы на спасение, то плывущие на барже обречены на смерть: им не выбраться из зарешеченного чрева баржи.

И в этот миг всеобщего оцепенения раздался громкий голос Станюковича.

– Руби канат! – крикнул он кормовому матросу, крикнул так, что тот, не задумываясь, рубанул топором по буксирному канату.

Теперь баржа была свободна. Струи течения подхватили ее, и она неспешно миновала застрявший пароходик. Все вздохнули с облегчением...

Итак, Станюкович оказался в Томске. Он завязывает знакомства с политическими ссыльными, которых немало было в этом провинциальном городке, ищет способы как-то содержать свою семью: устраивается на службу, сотрудничает в местной газете... И вот в это самое время ему приходит в голову счастливая мысль: обратиться к воспоминаниям более чем двадцатилетней давности, к поре своей молодости, к событиям своей флотской службы. Так были созданы первые морские рассказы.

Они сразу же завоевали успех. Их перепечатывали журналы, они выходили отдельными сборниками, автор стал получать благодарственные письма, в том числе от бывалых моряков.

К 1888 году, когда закончился срок ссылки и Станюкович с семьей вернулся в столицу, его репутация как морского писателя уже утвердилась. С этого времени и до конца жизни (он умер в 1903 году) морская тема остается главной в его творчестве, в ней писатель нашел себя, с ней остался в истории литературы.

Пора, которую описывает в своих произведениях Станюкович, – это пора заката многовековой истории парусного флота.

Служба матроса была в те годы тяжела и опасна. Матросов набирали по рекрутскому набору из крепостных крестьян. Часто они прежде никогда и моря-то не видели. Трудно даже представить себе, что они испытывали, когда впервые по команде поднимались на высокую мачту, чтоб, разбежавшись по реям, на страшной высоте, при сильной качке, крепить громадные паруса. А способ обучения был один – кулачный. Брань, зуботычины, порки были обыденным явлением. Станюкович подчеркивает, что пишет о временах ушедших (телесные наказания были отменены на флоте одновременно с отменой крепостного права), недаром многие его рассказы носят подзаголовок «Из дальнего прошлого». И вот такой простой матрос, неграмотный, часто забитый, становится главным героем прозы Станюковича. Приглядываясь к нему, писатель открывает лучшие свойства его души: чувство собственного достоинства, привязанность к товарищам, отзывчивость на добро, самоотверженность и отвагу, терпение, мудрый, простодушный, ясный взгляд на жизнь. Матрос – труженик, привыкший к тяжелой работе, исполняющий ее с лихостью, несмотря на смертельный риск.

Конечно, как говорится, в семье не без урода, и среди матросов попадаются люди жадные, жестокие, барские холуи. Но как бы они ни изворачивались, а все-таки команда видит их насквозь и никогда не наградит своим расположением. Спаянные тяжелым трудом, тесной совместной жизнью, общими опасностями, матросы хорошо знают, чего кто стоит. Жмоту, негодю не место в их трудовой семье.

Точно и пронизательно судят матросы о своем начальстве. Жесткая, жестокая даже, корабельная дисциплина не дает им высказать впрямую своего отношения к офицерам. Но моральная оценка дана каждому. И как же человечна, как же доброжелательна, снисходительна эта оценка! Кажется, не только доброго поступка, всего лишь доброго слова со стороны офицера достаточно, чтоб матросы пошли за ним в огонь и в воду! Разным людям судьба доверила командование матросской массой: есть среди них и достойные офицеры, пекущиеся о славе Российского флота, есть и отъявленные негодяи, карьеристы и жулики. Такая вопиющая несправедливость! Разве не отражает она несправедливость, царившую в те времена во всем русском обществе? К этой мысли исподволь подводит читателя Станюкович.

Можно поражаться силе памяти писателя. Через десятилетия пронес он с юных годов множество черт и черточек морской жизни, показал морскую службу во всем ее многообразии. Мы словно воочию видим и белопарусный корабль, и низковатый кубрик, и каюты с полами, обитыми клеенкой, и кают-компания, где ведут бесконечные беседы свободные от вахты офицеры...

Служба и быт, штормы и штили, труд и учение, авралы и отдых – все это отобразил Станюкович в своих произведениях. Но все же не морской колорит рассказов делает их столь привлекательными для читателя. Изображению могущественной и грозной стихии, перед которой, казалось бы, особенно заметно, насколько мал человек и слаб, противостоят величие души народной, мужество и доблесть моряков, их самоотверженное служение Родине.

Леонид Асанов

Морские рассказы



«Человек за бортом!»



I

Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту.

Подгоняемый нежным пассатом¹, клипер нес всю парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.

Пусто кругом.

¹ Пояснения морских терминов даны в словаре на с. 281.

Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка; высоко в воздухе прореет белый альбатрос; торопливо пронесется над водой маленькая петрель², спешащая к далекому африканскому берегу; раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, – и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан – оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.

– Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь? – спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.

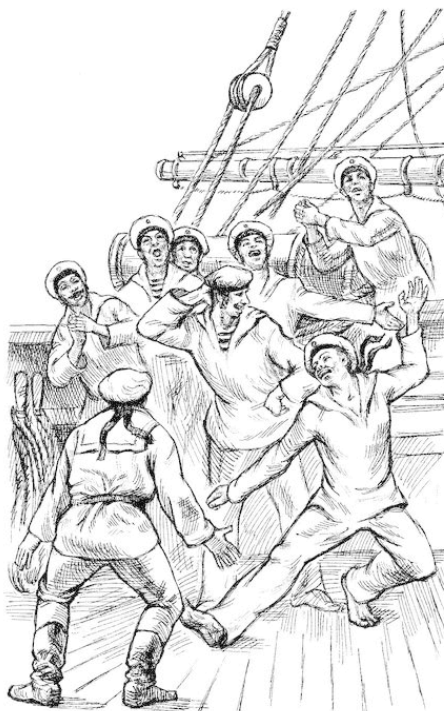
Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана. Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий, сутулый старик Лаврентьич, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марса-фалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, – отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любит лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольём), – этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами – обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, – смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.

И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались всё молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.

– За самое нутро хватает, подлец! – говорили про подголоска матросы.

Песня лилась за песнью, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством...

² П е т р е л ь – морская птица.



– Вали плясовую, ребята!

Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.

Макарка, маленький бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.

Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.

– И хорошо же ты поёшь, ах хорошо, пес тебя ешь! – заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.

– Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять – так хучь в оперу! – с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов, Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.

Лаврентьич, не терпевший и презиравший «чиновников»³, как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливового писарька и сказал:

– Ты-то у нас опера! Брюхо отрастил от лодырства – и вышла опера!

Среди матросов раздалось хихиканье.

– Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? – заметил сконфуженный писарек. – Эх, необразованный народ! – тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.

– Ишь какая образованная мамзеля! – презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения. – То-то я и говорю, – начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, – важно ты поёшь песни, Егорка!

³ Чиновниками матросы называют всех нестроевых: писарей, фельдшера, баталера, подшкипера. (Примеч. авт.)

– Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово – молодца, Егорка!.. – заметил кто-то.

В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.

И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара; и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка; и аккуратная, подобранная сухошававшая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки, – все в нем притягивало и располагало к себе с первого же раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.

Это была одна из тех редких, счастливых, жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя бы в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочок, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе, за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.

Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер под штормовыми парусами бросало, как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих седых гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики матросы, выдавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.

А Шутиков в это время, придерживаясь одной рукой за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, по-сторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.

– И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? – снова заговорил Лаврентьич, подсасывая носогрейку с махоркой. – Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел... да все не так забористо.

– Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь... Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! – прибавил Шутиков, улыбаясь.

И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитой голос.

II

В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел только что выскочивший из палубы плотный пожилой матрос Игнатов.

Бледный и растерянный, с непокрытой, коротко остриженной круглой головой, он сообщил прерывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.

– Двадцать франков! Двадцать франков, братцы! – жалобно повторял он, подчеркивая цифру.

Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.

Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он еще сегодня после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром – и... замок, братцы, сломан. Двадцати франков нет.

– Это как же? Своего же брата обкрадывать? – закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.

Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру.

Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать Семечем, был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошел, вызвавшись охотником и оставив в Кронштадте жену, торговку на базаре, и двоих детей, с единственной целью прикопить в плаваньи деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вел крайне воздержанную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и, под большим секретом, давал мелкие суммы займы за проценты надежным людям. Вообще Игнатов был человек оборотистый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-какие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плавал по летам в Финском заливе: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки⁴ и с выгодой перепродает в Кронштадте.

Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и притом для матроса порядочные.

– Это бесприменно подлец Прошка, никто, как он! – закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. – Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук... Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? – спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддержки. – Неужто я так и решусь денег? Ведь деньги-то у меня кровные. Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги. По грошам собирал... Чарки своей не пью... – прибавил он униженным, жалобным тоном.

Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший, и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора бранью.

– Эдакий мерзавец! Только срамит матросское звание... – с сердцем сказал Лаврентьич.

– Да-а... Завелась и у нас паршивая собака.

⁴ М а м у р о в к а – наливка из ягод княженики. Другие названия княженики – мамура, поляника. По вкусу и запаху ягода напоминает клубнику.

– Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!

– Так как же, братцы? – продолжал Игнатов. – Что с Прошкой делать? Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.

Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписаный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.

И Лаврентьич первый энергично запротестовал.

– Это, выходит, с лепортом по начальству? – презрительно протянул он. – Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу матросскую правилу? Эх вы... народ! – И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом. – Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! – прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.

– По-вашему, как же?

– А по-нашему, так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.

– Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст? Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора... Такую собаку нечего жалеть, братцы.

– Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов. Небось Прошка не все украл... Еще малость осталась? – иронически промолвил Лаврентьич.

– Считал ты, что ли!

– То-то не считал, а только не матросское это дело – кляузы. Не годится! – авторитетно заметил Лаврентьич. – Верно ли я говорю, ребята?

И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить не годится.

– А теперь веди сюда Прошку! Допроси его при ребятах! – решил Лаврентьич.

И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой.

В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.

III

Проход Житии, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы, и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного пария⁵. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры походя, и за дело, и так, за здорово живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У-у, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немыслимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег – выпивкой и ухаживанием за прекрасным полом, до которого он был большой охотник. На женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у

⁵ Пария – 1. Человек из низшей, лишенной всяких прав касты в Южной Индии. 2. Бесправное, угнетаемое, отверженное существо (*перен.*).

товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный гальюнщик – другой должности ему не было, и состоял в числе шканечных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, как ленивая лукавая лошадь, будто взаправду тянет.

– У-у... подлый лодырь! – ругал его шканечный унтер-офицер, обещая ему ужó начи-
стить зубы.

И, разумеется, «чистил».

IV

Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошеной ноги, как новый пинок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его еще будут бить.

– Ступай за мной! – проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.

Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.

Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещицкой усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношено. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем сидело мешковато и неряшливо, – словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.

Когда вслед за Игнатовым Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.

Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаха ударил Прошку по лицу.

Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.

– Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! – сердито промолвил Лаврентьич.

– Это ему в задаток, подлецу! – заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: – Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?

При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю тяжесть обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные, недоброжелательные лица и вдруг побледнел и как-то весь съезжился. Тупой страх исказил его черты.

Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.

Прошка молчал, потупив глаза.

– Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! – продолжал допросчик.

– Я денег твоих не брал! – тихо отвечал Прошка.

Игнатов пришел в ярость.

– Ой, смотри! До смерти избыю, коли ты добром не отдашь денег! – сказал Игнатов, и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.

И со всех сторон раздались неприязненные голоса:

- Повинись лучше, скотина!
- Не запирайся, Прошка!
- Лучше добром отдай!

Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:

– Братцы! Как перед истинным Богом! Хучь под присягу счас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной что вгодно, а я денег не брал!

Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых. Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:

– Не ври, подлая тварь!.. Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франков вытащил. Помнишь? А как у Левонтьева рубаху украл, тоже шел под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присягнуть – что плюнуть!

Прошка снова опустил голову.

– Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деньги? Нешто я не видел, как ты около вертелся... Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? – наступал допросчик.

– Так ходил.

– Так ходил?! Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.

Но Прошка молчал.

Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.

– Тебе ничего не будет... Слышишь?.. Отдай только мои деньги. Тебе ведь пропить, а у меня семейство. Отдай же! – почти молил Игнатов.

– Обыщите меня. Не брал я твоих денег!

– Так ты не брал, подлая душа? Не брал?! – воскликнул Игнатов с побелевшим от злобы лицом. – Не брал?!

И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку.

Бледный, вздрагивающий всем съезжившимся телом Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.

Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбужденный безответностью жертвы, свирепел все более и более.

– Пóлно... Будет... будет! – раздался вдруг из толпы голос Шутикова.

И этот мягкий просящий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.

Многие из толпы вслед за Шутиковым сердито крикнули:

– Будет... будет!

– Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!

Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.

– Ишь ведь, какой подлец... Запирается! – переводя дух, проговорил Игнатов. – Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст денег! – грозился Игнатов.

– А может, это и не он! – вдруг тихо сказал Шутиков.

И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся лицах.

– Не он? Впервые ему, что ли? Это бесприменно его дело. Вор известный, чтоб ему!..

И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.

– И зол же человек на деньги! Ох, зол! – сердито проворчал Лаврентийч вслед Игнатову, покачивая головой. – А ты не воруй, не срами матросского звания! – вдруг прибавил он неожиданно.

данно и выругался – на этот раз, по-видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.

– Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? – спросил он после минутного молчания. – Кабысь больше некому.

Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.

Толпа стала расходиться.

Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.

– Запрятал, шельма, куда-нибудь! – решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.

V

Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.

Матросы спали на палубе – внизу было душно, – а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкновению, коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками.

В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.

Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом, тихо окликнул его:

– Это ты, Прошка?

– Я! – встрепенулся Прошка.

– Что я тебе скажу, – продолжал Шутиков тихим ласковым голосом, – ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой... Он тебя вовсе изобьет на берегу, безо всякой жалости.

Прошка насторожился... Этот тон был для него неожиданностью.

– Что ж, пусть бьет, а я евойных денег не касался! – ответил после короткого молчания Прошка.

– То-то он не верит и, пока не вернет своих денег, тебе не простит... И многие ребята сомневаются.

– Сказано: не брал! – повторил Прошка с прежним упорством.

– Я, братец, верю, что ты не брал. Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов еще грозит бить... А ты вот чего, Прошка, возьми ты у меня двадцать франков и отдай их Игнатову. Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь – приневоливать не стану. Так-то оно будет аккуратней... Да, слышь, никому про это не рассказывай! – прибавил Шутиков.

Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидал бы, что оно смущено и необыкновенно взволновано. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова.

Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.

– Так бери деньги! – сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой капитал.

– Это как же?... Ах ты господи! – растерянно бормотал Прошка.

– Эка, глупый... Сказано: получай, не кобенься!

– Получай?! А, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! – отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: – Только твоих денег, Шутиков, не нужно. Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом... Не желаю. Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.

– Так, значит, ты?..

– То-то я! – чуть слышно промолвил Прошка... – Никто бы и не дознался. Деньги-то в пушке запрятаны...

– Эх, Прохор, Прохор! – упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.

– Теперь пусть он меня бьет... Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку, жарь его, мерзавца, не жалей! – с каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. – Все перенесу с моим удовольствием... По крайности знаю, что ты пожалел, поверил... Ласковое слово сказал Прошке... Ах ты господи! Вовек этого не забуду!

– Ишь ведь ты какой! – промолвил ласково Шутиков и присел на пушку.

Он помолчал и заговорил:

– Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой, брось-ка ты все эти дела, право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему. Стань форменным матросом, чтобы всё, значит, как следует... Так-то душевней будет... А то разве самому себе сладко? Я, Прохор, не в укор, а жалеючи! – прибавил Шутиков.

Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били – вот какое было ученье.

И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.

Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул наворачывавшуюся слезу.

Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:

– Бей еще... Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!

Удивленный Прошкиной смелостью, Игнатов презрительно оглядел Прошку и проговорил:

– Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать... Сгинь, сволочь, но только смотри попробуй еще раз ко мне лазить!.. Искалечу! – внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.

Тем и ограничилась расправа.

Благодаря ходатайству Шутикова и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после убирки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво, относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».

– Испужался Прошка Семеныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! – говорили матросы во время утренней чистки.

VI

С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унижит Шутикова в чужих глазах. Он нико-

гда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу все, до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков лихо управляет на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим все, что ни делал Шутиков. Иногда днем, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.

– Ты чего, Прохор? – спросит, бывало, приветливо Шутиков.

– Так, ничего! – ответит Прошка.

– Куда ж ты?

– А к своему месту... Я ведь так только! – скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит Шутикова, и уйдет.

Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то починить его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.

– Молодец, Житин! Важная, брат, работа! – одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.

– Это я тебе, Егор Митрич. Уважь... Носи на здоровье.

Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков наконец принял подарок.

Прошка был в восторге.

И лодырничать стал Прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное, и Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травли потеху.

Особенно любил дразнить его один из шканечных, забиячный, но трусливый молодой матрос Иванов. Как-то однажды, желая потешить собравшийся кружок, он донимал Прошку своим глумлением. Прошка, по обыкновению, отмалчивался, и Иванов становился все назойливее и безжалостнее в своих шутках.

Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился:

– Это, Иванов, не того... нехорошо это. Чего ты пристал к человеку, ровно смола?

– Прошка у нас необидчивый! – со смехом ответил Иванов. – Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил. Не кочевряжься. Расскажи, Прошенька! – глумился на общую потеху Иванов.

– Не тронь, говорю, человека! – строго повторил Шутиков.

Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступается.

– Да ты чего? – окрысился вдруг Иванов.

– Я-то ничего, а ты не куражься... Ишь тоже нашел над кем куражиться!

Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решил подать голос:

– Иванов ничего. Он ведь так только. Шутит, значит.

– А ты съездил бы его по уху – небось перестал бы так шутить.

– Прошка бы съездил?.. – удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным. – Ну-ка, попробуй, Прошка! Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.

– Может, и сам бы съел сдачи.

– Не от тебя ли?

– То-то от меня! – сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.

Иванов стушевался. И только когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку:

– Однако... Нашел себе приятеля Шутиков!.. Нечего сказать, приятель... Хорош приятель, Прошка-гальюнщик!

После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.

VII

Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.

Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное: относительная близость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.

Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.

Шутиков стоял на грот-русленях, прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил оружие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линия (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее...

Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:

– Человек за бортом!

Не прошло нескольких секунд, как снова зловеющий крик:

– Еще человек за бортом!

На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.

Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:

– Фок и грот на гитовы!

С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.

– Он, кажется, схватился за буюк! – проговорил капитан, отрываясь от бинокля. – Сигнальщик, не спускай их с глаз!

– Есть. Вижу!

– Скорей, скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! – нервно, отрывисто торопил капитан.

Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми, под начальством мичмана Лесового, тихо спускался с боканцев.

– С Богом! – напутствовал капитан. – Ищите людей на ост-норд-ост... Да не заходите далеко! – прибавил он.



Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал по крайней мере милю.

– Кто это упал? – спросил капитан старшего офицера.

– Шутиков. Сорвался, бросая лот... Лопнул пояс.

– А другой?

– Житии! Бросился за Шутиковым.

– Житии? Этот трус и рохля? – удивился капитан.

– Я сам не могу понять! – отвечал Василий Иванович.

Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся из глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.

На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подозрные трубы.

Так прошло долгих полчаса.

– Баркас идет назад! – доложил сигнальщик.

И снова все взоры устремились на океан.

– Верно, спасли людей! – тихо заметил старший офицер капитану.

– Почему вы думаете, Василий Иванович?

– Лесовой не вернулся бы так скоро!

– Дай Бог! Дай Бог!

Нырять в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.

– Молодцом правит Лесовой! Молодцом! – вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.

Баркас подходил все ближе и ближе.

– Оба в шлюпке! – весело крикнул сигнальщик.

Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Кликер словно ожил. Снова пошли разговоры.

– Счастливо отделались! – проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная, хорошая улыбка.

Улыбался в ответ и Василий Иванович.

– А Житин-то!.. Трус, трус, а вот подите! – продолжал капитан.

– Удивительно! И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! – прибавил Василий Иванович в пояснение.

И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.

Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.

Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.

Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.

– Молодец, Житии! – сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.

А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо робея.

– Ну, ступай переоденься скорей да выпей за меня чарку водки... За твой подвиг представлю тебя к медали, а от меня получишь денежную награду.

Совсем ошалевший Прошка даже не догадался сказать «рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой.

– Снимайтесь с дрейфа! – приказал капитан, поднимаясь на мостик.

Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, и минут через пять клипер снова несея прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.

– Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! – остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу. – Портной, портной, а какой отчаянный! – продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.

– Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю, шабаш. Богу отдавать душу придется! – рассказывал Шутиков. – Не продержусь, мол, долго на воде-то... Слышу – Прохор голосом кричит. Плывет с кругом и мне буюк подал... То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел.

– А страшно было? – спрашивали матросы.

– А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! – отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.

– И как это ты, братец, вздумал? – ласково спросил Прошку подошедший боцман.

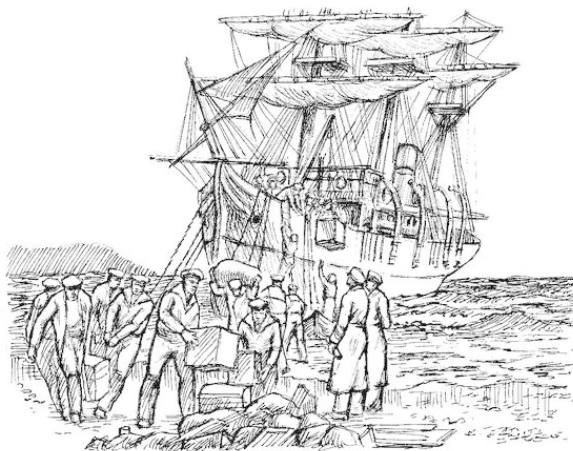
Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:

– Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч. Вижу, он упал, Шутиков, значит. Я, значит, господи благослови, да за им...

– То-то и есть! Душа в ём. Ай да молодец, Прохор! Ишь ведь... На-кось покури трубочки-то на закуску! – сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.

С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.

Ужасный день



I

Весь черный, с блестящей золотой полоской вокруг, необыкновенно стройный, изящный и красивый со своими чуть-чуть наклоненными назад тремя высокими мачтами, военный четырехпушечный клипер «Ястреб» в это хмурое, тоскливое и холодное утро пятнадцатого ноября 186* года одиноко стоял на двух якорях в пустынной Дуйской бухте неприветного острова Сахалина. Благодаря зыби клипер тихо и равномерно покачивался, то поклевывая острым носом и купая штаги в воде, то опускаясь подзором своей круглой кормы.

«Ястреб», находившийся уже второй год в кругосветном плавании, после посещения наших почти безлюдных в то время портов Приморской области, зашел на Сахалин, чтобы запастись даровым углем, добытым ссыльнокаторжными, недавно переведенными в Дуйский пост из острогов Сибири, и идти затем в Нагасаки, а оттуда – в Сан-Франциско, на соединение с эскадрой Тихого океана.

В этот памятный день погода стояла сырая, с каким-то пронизывающим холодом, заставлявшим вахтенных матросов ёжиться в своих коротких бушлатах и дождевиках, а подвахтенных – чаще подбегать к камбузу погреться. Шел мелкий, частый дождик, и серая мгла заволакивала берег. Оттуда доносился только однообразный характерный гул бурунов⁶, перекатывающихся через отмели и гряды подводных камней в глубине бухты. Ветер, не особенно свежий, дул прямо с моря, и на совершенно открытом рейде ходила порядочная зыбь, мешавшая, к общему неудовольствию, быстрой выгрузке угля из двух больших неуклюжих допотопных лодок, которые трепались и подпрыгивали, привязанные у борта клипера, пугая «крупу», как называли матросы линейных солдатиков, приехавших с берега на лодках.

С обычной на военных судах торжественностью на «Ястребе» только что подняли флаг и гюйс, и с восьми часов на клипере начался судовый день. Все офицеры, выходившие к подъему флага наверх, спустились в кают-компанию пить чай. На мостике только оставались закутанные в дождевики капитан, старший офицер и вахтенный начальник, вступивший на вахту.

⁶ Б у р ы – пенящиеся волны над отмелью или рифом.

– Позвольте отпустить вторую вахту в баню? – спросил старший офицер, подходя к капитану. – Первая вахта вчера ездила. Второй будет обидно. Я уж обещал. Матросам баня – праздник.

– Что ж, отпустите. Только пусть скорее возвращаются назад. После погрузки мы снимемся с якоря. Надеюсь, сегодня закончим?

– К четырем часам надо закончить.

– В четыре часа я, во всяком случае, уйду, – спокойно и в то же время уверенно и властно проговорил капитан. – И то мы промешкались в этой дыре! – прибавил он недовольным тоном, указывая своей белой выхоленной маленькой рукой по направлению к берегу.

Он откинул капюшон дождевика с головы, открыв молодое и красивое лицо, полное энергии и выражения спокойной уверенности стойкого и отважного человека, и, слегка прищурив свои серые лучистые и мягкие глаза, с напряженным вниманием всматривался вперед, в туманную даль открытого моря, где белели седые гребни волн. Ветер трепал его светло-русые бакенбарды, и дождь хлестал прямо в лицо. Несколько секунд не спускал он глаз с моря, точно стараясь угадать: не собирается ли оно разбушеваться, и, казалось, успокоенный, поднял глаза на нависшие тучи и потом прислушался к гулу бурунов, шумевших за кормой.

– За якорным канатом хорошенько следите. Здесь подлый грунт, каменистый, – сказал он вахтенному начальнику.

– Есть! – коротко и весело отрезал молодой лейтенант Чирков, прикладывая руку к полям зюйдвестки и, видимо, щеголяя и служебной аффектацией хорошего подчиненного, и своим красивым баритоном, и своим внешним видом заправского моряка.

– Сколько вытравлено цепи?

– Десять сажен каждого якоря.

Капитан двинулся было с мостика, но остановился и еще раз повторил, обращаясь к плотной и приземистой фигуре старшего офицера:

– Так уж пожалуйста, Николай Николаич, чтобы баркас вернулся как можно скорей... Барометр пока хорошо стоит, но, того и гляди, может засвежить. Ветер прямо в лоб, баркасу и не выгрести.

– К одиннадцати часам баркас вернется, Алексей Петрович.

– Кто поедет с командой?

– Мичман Нырков.

– Скажите ему, чтоб немедленно возвращался на клипер, если начнет свежить.

С этими словами капитан сошел с мостика и спустился в свою большую комфортабельную капитанскую каюту. Проворный вестовой принял у входа дождевик, и капитан присел у круглого стола, на котором уж был подан кофе и стояли свежие булки и масло.

Старший офицер, ближайший помощник капитана, так сказать «хозяйский глаз» судна и верховный жрец культа порядка и чистоты, по обыкновению поднявшись вместе с матросами, с пяти часов утра носился по клиперу во время обычной его утренней уборки и торопился теперь выпить поскорее стакан-другой горячего чая, чтобы затем снова выбежать наверх и поторапливать выгрузкой угля. Отдав вахтенному офицеру приказание собрать вторую вахту на берег, приготовить баркас и дать ему знак, когда люди будут готовы, он торопливо сбежал с мостика и спустился в кают-компанию.

Тем временем к мостику подбежал вызванный боцман Никитин, или Егор Митрич, как почтительно звали его матросы. Приложив растопыренные засмоленные пальцы своей здоровенной мозолистой и шершавой руки к сбитой на затылок намокшей шапке, он внимательно выслушивал приказание вахтенного офицера.

Это был коренастый и крепкий, небольшого роста, сутуловатый пожилой человек самого свирепого вида: с заросшим волосами некрасивым рябым лицом, с коротко подстриженными щетинистыми колючими усами и с выкаченными, как у рака, глазами, над которыми торчали

черные взъерошенные клочья. Перешибленный еще давно марса-фалом нос напоминал темно-красную сливу. В правом ухе у боцмана блестела медная сережка.

Несмотря, однако, на такую свирепую наружность и на самое отчаянное сквернословие, которым боцман приправлял и свои обращения к матросам, и свои монологи под пьяную руку на берегу, Егор Митрич был простодушнейшим и кротким существом с золотым сердцем и притом лихим, знающим свое дело до тонкости боцманом. Он никогда не обижал матросов – ни он, ни матросы не считали, конечно, обидой его ругательные импровизации. Сам прежде выученный битьем, он, однако, не дрался и всегда был представителем и защитником матросов. Нечего и прибавлять, что простой и незаносчивый Егор Митрич пользовался среди команды уважением и любовью.

«Правильный человек Егор Митрич», – говорили про него матросы.

Выслушав приказание вахтенного лейтенанта, боцман вприпрыжку понесся на бак и, вынув из кармана штанов висевшую на длинной медной цепочке такую же дудку, засвистал в нее соловьем. Свист был энергичный и веселый и словно бы предупреждал о радостном известии. Отсвистав и проделав трели с мастерством заправского боцмана, свиставшего в дудку половину своей долгой морской службы, он нагнулся над люком в жилую палубу и, расставив фертм свои цепкие, слегка кривые, короткие ноги, весело зыкнул во всю силу своего могучего голоса, несколько осипшего и от береговых попоек, и от ругани:

– Вторая вахта, в баню! Баркасные, на баркас!

Вслед за громовым окриком боцман сбегал по трапу вниз и обходил жилую палубу и кубрик, повторяя команду и рассыпая направо и налево подбадривающие энергические словечки самым веселым и добродушным тоном:

– Живо, сучьи дети!.. Поворачивайтесь по-матросски, черти!.. Не копайся, идолы! Небось долго париться не дадут... К одиннадцати чтобы беспрременно на клипер... В один секунд собирайся, ребята!

Заметив молодого матросика, который и после свистка не трогался с места, Егор Митрич крикнул, стараясь придать своему голосу сердитый тон:

– А ты, Конопаткин, что расселся, ровно собачья мамзель, а? Ай в баню не хочешь, песья твоя душа?

– Иду, Егор Митрич, – проговорил, улыбаясь, матросик.

– То-то иду. Собирай свои потроха... Да не ползи, как вошь по мокрому месту! – рассыпал Егор Митрич перлы своего остроумия при общем одобрительном смехе.

– А скоро уходим отсюда, Егор Митрич? – остановил боцмана писарь.

– Надо быть, сегодня.

– Скорей бы уйти. Как есть подлое место. Никаких развлечений!

– Собачье место... Недаром здесь несчастные люди живут!.. Вали, вали, братцы! – продолжал покрикивать боцман, сдабривая свои окрики самыми неожиданными импровизациями.

Веселые и довольные, что придется попариться в бане, в которой не были уже полтора года, матросы и без понуканий своего любимца Егора Митрича торопливо доставали из своих парусинных мешков по смене чистого белья, запасались мылом и кусками нащипанной пеньки, обмениваясь замечаниями насчет предстоящего удовольствия.

– По крайности матушку-Расею вспомним, братцы. С самого Кронштадта не парились.

– То-то в загранице нет нигде бань, одни ванный. Кажется, и башковатые люди в загранице живут, а поди ж ты! – не без чувства сожаления к иностранцам заметил пожилой баковый матрос.

– Так-таки и нигде? – спросил молодой чернявый матросик.

– Нигде. Без бань живут, чудные! Везде у них ванный.

– Эти ванный, чтоб им пусто было! – вставил один из матросов. – Я ходил в Бресте в эту самую ванную. Одна слава что мытье, а форменного мытья нету.

– А хороша здесь, братцы, баня?

– Хорошая, – отвечал матрос, бывший вчера на берегу. – Настоящая жаркая баня. Линейные солдатики строили; тоже, значит, российские люди. Им да вот этим самым несчастным, что роют уголь, только и утеха одна что баня...

– Да, вовсе здесь тяжкое житье!

– И командир ихний, сказывали, зверь.

– Одно слово – каторжное место. И ни тебе кабака, ни тебе бабы!

– Одна заваливающая варначка какая-то есть старая... Наши видели.

– Увидишь и ты, не бойсь! – проговорил, смеясь, подошедший Егор Митрич. – Не с лица воду пить! Живо, живо!.. Выползай, кто готов... Нечего-то лясы точить, чтоб вас!

Матросы выходили один за другим наверх с узелками под бушлатами и выстраивались на шканцах. Вышел старший офицер и, снова повторив мичману Нырку приказание быть к одиннадцати часам на клипере, велел сажать людей на баркас, который уже покачивался у левого борта с поставленными мачтами.

Матросы весело спускались по веревочному трапу, прыгали в шлюпку и рассаживались по банкам. Старший офицер наблюдал за посадкой.

Минут через пять баркас, полный людьми, с поставленными парусами, отвалил от борта с мичманом Нырковым на руле, понесся стрелой с попутным ветром и скоро скрылся в туманной мгле, все еще окутывавшей берег.

II

В кают-компании все были в сборе за большим столом, покрытым белоснежной скатертью. Две горки свежих булок, изделия офицерского кока (повара), масло, лимоны, графинчик с коньяком и даже сливки красовались на столе, свидетельствуя о хозяйственных талантах и запасливости содержателя кают-компаний молодого доктора Платона Васильевича, выбранного на эту хлопотливую должность во второй раз. Только что истопленная железная печка позволяла всем сидеть без пальто. Пили чай и болтали, поругивая главным образом проклятый Сахалин, куда судьба занесла клипер. Ругали и открытый рейд с его зыбью, и собачью погоду, и местность, и холод, и медленную грузку угля. Всем, начиная со старшего офицера и кончая самым юным членом кают-компаний, только что произведенным в мичманы, румяным и свежим, как яблочко, Арефьевым, эта стоянка в Дуэ была очень неприятна. Подобный берег не манил к себе моряков. Да и что могло манить?... Неприветен был этот несчастный поселок на оголенном юру бухты, с унылым лесом сзади без конца, с несколькими казармами мрачного вида, в которых жили пятьдесят человек ссыльно-каторжных, выходивших с утра на добычу угля в устроенную вблизи шахту, да полурота солдат линейного сибирского батальона.

Когда старший офицер объявил в кают-компаний, что сегодня «Ястреб» непременно уйдет в четыре часа, хотя бы и не весь уголь был принят, все по этому случаю выражали свою радость. Молодые офицеры вновь замечтали вслух о Сан-Франциско и о том, как они там «протрут денежки». Деньги, слава богу, были! В эти полтора месяца плавания с заходами в разные дыры нашего побережья на Дальнем Востоке при всем желании некуда было истратить денег, а впереди еще недели три-четыре до Сан-Франциско – смотришь, и можно спустить все трехмесячное содержание, а при случае и прихватить вперед... После адской скуки всех этих «собачьих дыр» морякам хотелось настоящего берега. Мечтали о хорошем порте со всеми его удовольствиями, только, разумеется, не вслух, и такие солидные люди, как старший офицер, Николай Николаевич, вообще редко съезжавший на берег, а если и съезжавший, то на самое короткое время, чтоб «освежиться», как говорил он, и доктор, и старший артиллерист, и стар-

ший механик, и даже отец Спиридоний. Все они с видимым вниманием слушали, когда Сниткин, полный лейтенант с сочными, пухлыми губами и маленькими глазками, всегда веселый и добродушный, немножко враль и балагур, рассказывал о прелестях Сан-Франциско, в котором он был в первое свое кругосветное плавание, и с неумеренною восторженностью, свойственной, кажется, одним морякам, восхвалял красоту и прелесть американок.

– Уж разве так хороши? – спросил кто-то.

– Прелесть! – ответил Сниткин и в доказательство поцеловал даже свои толстые пальцы.

– Помните, Василий Васильич, вы и малаек нам нахваливали. Говорили, что очень недурны собой, – заметил один из мичманов.

– Ну и что же? Они в своем роде недурны, эти черномазые дамы! – со смехом отвечал лейтенант Сниткин, не особенно разборчивый, по-видимому, к цвету кожи прекрасного пола. – Все, батюшка, зависит от точки зрения и обстоятельств, в которых находится злополучный моряк... Ха-ха-ха!

– При всяких обстоятельствах ваши хваленые малайки – мерзость!



– Ишь какой эстетик, скажите пожалуйста! И, однако, несмотря на всю свою эстетику, в Камчатке вы влюбились в заседательшу и все расспрашивали ее, как маринуют бруснику и морошку... А ведь этой даме все сорок, и главное – она форменный сапог! Хуже всякой малайки.

– Ну, положим... – сконфуженно пролепетал мичман.

– Да уж как там ни полагайте, голубчик, а – сапог... Одна бородавка на носу чего стоит! И тем не менее вы ей романсы пели. Значит, такая точка зрения была.

– Вовсе не пел! – защищался юный мичман.

– А помните, господа, как все мы тогда из Камчатки с вареньем ушли? – воскликнул кто-то из мичманов.

Раздался общий взрыв веселого смеха. Снова вспомнили, как после трехдневной стоянки «Ястреба» в Петропавловске, в Камчатке, – стоянки, взбудоражившей всех шесть дам местной интеллигенции и заставившей их на время примириться, забыв вражду, чтобы устроить бал для редких гостей, – каждый из молодых офицеров клипера вечером, в день ухода из Камчатки, вносил в кают-компанию по банке варенья и ставил ее на стол со скромно-торжествующей улыбкой. И то-то было сперва изумления и потом смеха, когда выяснилось, что все эти восемь банок варенья, преимущественно морошки, были подарком одной и той же тридцатилетней дамы, считавшейся первой красавицей среди шести камчатских дам. А между тем каждый, получивший «на память» по банке варенья, считал себя единственным счастливецом, удостоившимся такого особенного внимания.

– Всех обморочила лукавая бабенка! – восклицал Сниткин. – «Вам, – говорит, – одному варенье на память!» И руки жала, и... ха-ха-ха... Ловко! По крайней мере, никому не обидно!

После нескольких стаканов чая и многих выкуренных папирос старшему офицеру, видимо, не хотелось расставаться со своим почетным местом на мягком диване в теплой и уютной кают-компании, особенно в виду оживленных рассказов о Сан-Франциско, напомнивших Николаю Николаевичу, этому мученику своих тяжелых обязанностей старшего офицера, что и ему ничто человеческое не чуждо. Но, раб долга и педант, как и большая часть старших офицеров, любивший вдобавок напустить на себя вид человека, которому нет ни минуты покоя и который – полюбуйтесь! – за всем должен присмотреть и за все отвечать, он хоть и сделал кислую гримасу, вспомнив, какая наверху пакость, тем не менее решительно поднялся с дивана и крикнул вестовому:

– Пальто и дождевик!

– Куда вы, Николай Николаич? – спросил доктор.

– Странный вопрос, доктор, – отвечал как будто даже обиженно старший офицер. – Точно вы не знаете, что уголь грузят.

И старший офицер пошел наверх «присматривать» и мокнуть, хотя и без его присутствия выгрузка шла своим порядком. Но Николай Николаич все-таки торчал наверху и мок, словно бы в пику кому-то и в доказательство, сколь он претерпевает.

В кают-компании продолжалась веселая болтовня моряков, еще не надоевших друг другу до тошноты, что случается на очень длинных переходах, когда нет новых впечатлений извне. Мичманы расспрашивали лейтенанта Сниткина о Сан-Франциско, кто-то рассказывал анекдоты о «беспокойном адмирале». Все были веселы и беспечны.

Один только Лаврентий Иванович, старший штурман клипера, не принимал участия в разговоре и посасывал свою манилку, постукивая сморщенными костлявыми пальцами по столу далеко не с тем добродушно-спокойным видом, с каким он это делал, когда «Ястреб» был в открытом океане или стоял на якоре на хорошем, защищенном рейде. Вдобавок Лаврентий Иванович не мурлыкал, по обыкновению, себе под нос излюбленного им мотива какого-то старинного романа, и это молчание тоже кое-что значило.

Это был сухощавый, среднего роста человек лет пятидесяти, с открытым, располагающим, еще свежим лицом, добросовестный и педантичный до щепетильности служака, давно уж примирившийся со своим вечно подневольным положением штурмана и скромной карьерой и не злобствовавший, по обычаю штурманов, на флотских. Поседевший на море, на котором провел большую часть своей одинокой, холостой жизни, он приобрел на нем вместе с богатым опытом, закалкой характера и ревматизмом еще и то несколько суеверное, почтительно-осторожное отношение к хорошо знакомому ему морю, которое делало Лаврентия Ивановича весьма недоверчивым и подозрительным к коварной стихии, показывавшей ему во время долгих плаваний всякие виды.

Видимо, чем-то озабоченный, он то и дело выходил из кают-компания наверх, поднимался на мостик и долгим недоверчивым взглядом своих маленьких, зорких, как у коршуна, глаз глядел на море и озирался вокруг. Туманная мгла, закрывавшая берег, рассеялась, и можно было ясно видеть седые буруны, грохотавшие в нескольких местах бухты, в значительном отдалении от клипера. Поглядывал старый штурман и на надувшийся вымпел, не изменявший своего направления, указывающего, что ветер прямо, как говорят моряки, «в лоб», и на небо, на свинцовом фоне которого начинали прорезываться голубые кружки...

– Дождь-то, слава богу, перестает, Лаврентий Иваныч! – весело заметил вахтенный лейтенант Чирков.

– Да, перестает.

В мягком, приятном баске старого штурмана не слышно было довольной нотки. Напротив, то обстоятельство, что дождь перестает, казалось, не особенно нравилось Лаврентию Ивановичу. И словно бы не доверяя своим зорким глазам, он снял с поручней большой морской бинокль и снова впился в почерневшую даль. Несколько минут разглядывал он мрачные,

нависшие над краем моря тучи и, положив на место бинокль, потянул носом, точно собака, воздух и покачал раздумчиво головой.

– Что это вы, Лаврентий Иванович, все посматриваете?.. Мы, кажется, не проходим опасных мест? – шутливо спросил Чирков, подходя к штурману.

– Не нравится мне горизонт-с! – отрезал старый штурман.

– А что?

– Как бы вскорости не засвежело.

– Эка беда, если и засвежеет! – хвастливо проговорил молодой человек.

– Очень даже беда-с! – внушительно и серьезно заметил старший штурман. – Этот свирепый норд-вест коли заревет вовсю, то надолго, и уж тогда не выпустит нас отсюда... А я предпочел бы штормовать в открытом море, чем здесь, на этом подлеце рейде. Да-с!

– Чего нам бояться? У нас – машина. Разведем пары, в помощь якорям, и шутя отстоимся! – самоуверенно воскликнул Чирков.

Лаврентий Иванович посмотрел на молодого человека со снисходительной улыбкой старого, бывалого человека, слушающего хвастливого ребенка.

– Вы думаете «шутя-а-а»? – протянул он, усмехнувшись. – Напрасно! Вы, батенька, не знаете, что это за подлый норд-вест, а я его знаю. Лет десять тому назад я стоял здесь на шхуне... Слава богу, вовремя убрались, а то бы...

Он не закончил фразы, боясь, как все суеверные люди, даже упоминать о возможности несчастья, и, помолчав, заметил:

– Положим, машина, а все бы лучше подобру-поздорову в море! Ну его к черту, уголь! В Нагасаки можем добрать. Эта хитрая каналья норд-вест сразу набрасывается как бешеный. А уж как он рассвирепееет до шторма, тогда уходить поздно.

– Уж вы всегда, Лаврентий Иванович, везде страхи видите.

– В ваши годы и я их не видал... Все, мол, трын-трава... На все наплевать, ничего не боялся... Ну а как побывал в переделках, состарившись в море, так и вижу... Знаете ли пословицу: «Береженого и Бог бережет».

– Что ж вы капитану не скажете?

– Что мне ему говорить? Он и сам должен знать, каково здесь отстаиваться в свежую погоду! – не без раздражения ответил старый штурман.

Лаврентий Иванович, однако, скрыл, что еще вчера, как только задул норд-вест, он доложил капитану о «подлости» этого ветра и крайне осторожно выразил мнение, что лучше бы уходить отсюда. Но молодой самолюбивый и ревнивый к власти капитан, которого еще тешили первые годы командирства и который не любил ничьих советов, пропустил, казалось, мимо ушей замечание старшего штурмана и ни слова ему не ответил.

«И без тебя, мол, знаю!» – говорило, по-видимому, самоуверенное и красивое лицо капитана.

Старый штурман вышел из капитанской каюты, несколько обиженный таким «обрывом», и за дверями каюты проворчал себе под нос:

– Молода, в Саксонии не была!

– А все-таки, Лаврентий Иванович, вы бы доложили капитану! – проговорил лейтенант Чирков, несколько смущенный словами старого штурмана, хотя и старавшийся скрыть это смущение в равнодушном тоне голоса.

– Что мне соваться с докладами? Он сам видит, какая здесь мерзость! – с сердцем ответил Лаврентий Иванович.

В эту минуту на мостик поднялся капитан и стал оглядывать горизонт, весь покрытый зловещими черными тучами. Они, казалось, всё росли и росли, охватывая все большее пространство, и, разрываясь, с поразительной быстротой поднимались по небосклону. Дождь перестал. Кругом, у берегов, прояснялось.

– Баркас еще не отвалил? – спросил капитан вахтенного.

– Нет.

– Поднять позывные!

В спокойном обыкновенно голосе капитана едва слышна была тревожная нотка.

«Небось теперь тревожишься, а вчера и слушать меня не хотел!» – подумал старший штурман, искоса взглядывая на капитана, стоявшего на другой стороне мостика.

– То-то молода, в Саксонии не была! – прошептал Лаврентий Иванович любимую свою присказку.

– Баркас отваливает! – крикнул сигнальщик, все время смотревший на берег в подзорную трубу.

Сильный шквалистый порыв ветра внезапно ворвался в бухту, пронесся по ней, срывая гребешки волн, и прогудел в снастях. «Ястреб», стоявший против ветра, шутя выдержал этот порыв и только слегка дрогнул на своих туго натянутых якорных канатах.

– Прикажите разводить пары, да чтобы поскорей! – сказал капитан.

Вахтенный офицер дернул ручку машинного телеграфа и крикнул в переговорную трубку. Из машины ответили: «Есть, разводим!»

– Отправьте угольные лодки на берег! Чтоб все было готово к съемке с якоря! – продолжал отдавать приказания капитан повелительным, отрывистым и слегка возбужденным голосом, сохраняя на лице своем обычное выражение спокойной уверенности.

Он заходил, заложив руки в карманы своего теплого пальто, по мостику, но поминутно останавливался: то вглядывался озабоченным взором в свинцовую даль рокотавшего моря, то оборачивался назад и в бинокль следил за баркасом, который медленно подвигался вперед против встречной зыби и ветра.

– А ведь вы были правы, Лаврентий Иваныч, и я жалею, что не послушал вас и не снялся сегодня с рассветом с якоря! – проговорил вдруг капитан громко, и, казалось, нарочно громко, чтоб слышал и Чирков, и старший офицер, поспешивший вбежать на мостик, как только узнал о съемке с якоря.

Сознание в своей неправоте такого уверенного в себе и страшно самолюбивого человека, каким был этот образованный, блестящий и действительно лихой капитан, обнаруживавший не раз во время плавания и отвагу, и хладнокровие, и находчивость настоящего моряка, совсем смягчило сердце скромного Лаврентия Ивановича. И он вдруг смутился и, словно в чем-то оправдываясь и желая в то же время оправдать капитана, промолвил:

– Я, Алексей Петрович, потому позволил себе доложить, что сам испытал, каков десь норд-вест... А в лоции ничего не говорится.

– А, кажется, собирается засвежить не на шутку! – продолжал капитан, понижая голос. – Взгляните! – прибавил он, взмахнув головой на далекие тучи.

– Штормом попахивает, Алексей Петрович... Уж мне и в ногу стреляет-с, – шутливо промолвил старый штурман.

– Ну, пока он разыграется, мы успеем выйти в море. Пусть себе там нас треплет.

Опять, словно предупреждающий вестник, пронесся порыв, и снова клипер, точно конь на привязи, дернулся на цепях.

Капитан велел спустить брам-стенги.

– Да живет пары! – крикнул он в машину.

Брам-стенги были быстро спущены лихой командой клипера, и старший офицер, командовавший авралом, довольно улыбался, как они «сгорели». Скоро из трубы повалил дым. Баркас с людьми выгребал дружно и споро и приближался к клиперу. Все гребные судна были подняты.

Старый штурман все тревожнее и тревожнее посматривал на грозные тучи, облегавшие горизонт. В серьезном, несколько возбужденном лице капитана, в его походке, жестах, голосе

заметно было нетерпение. Он то и дело звонил в машину и спрашивал: «Как пары?» – видимо торопясь уходить из этой усеянной подводными камнями бухты, вдобавок еще плохо описанной в лоции.

А ветер заметно свежел. Приходилось потравливать якорные цепи, натягивавшиеся при сильных порывах в струну. Клипер при этом подавался назад, по направлению к берегу. Зыбь усиливалась, играя «зайчиками», и «Ястреб» стремительней клевал носом.

– Ну, слава богу, через час уйдем из этой дыры! – радостно говорили мичманы в кают-компании.

– И чтоб в нее никогда не заглядывать больше!

К старшему штурману, спустившемуся в кают-компанию выкурить манилку и погреться, кто-то обратился с вопросом:

– Лаврентий Иванович! Когда мы придем в Сан-Франциско, как вы думаете? Недельки через четыре увидим американок, а?

– Нечего-то загадывать вперед... Мы ведь в море, а не на берегу.

– Ну, однако, приблизительно, Лаврентий Иванович? Если все будет благополучно?

– Да что вы пристали: когда да когда? Прежде отсюда надо убраться! – ворчливо промолвил штурман.

– А что, разве так свежо?

– Подите наверх – увидите!

– У нас, Лаврентий Иванович, машина сильная. Выползем.

Лаврентий Иванович, почти не сомневавшийся, что клипер до шторма уйти не успеет и что ему придется отстаиваться на рейде, ничего не ответил и быстрыми, нервными затяжками торопливо докуривал свою манилку, озабоченный и мрачный, полный самых невеселых дум о положении клипера, если штормяга будет, как он выражался, «форменный».

В эту минуту в кают-компанию влетел весь мокрый, с красным от холода лицом молодой мичман Нырклов и возбужденно и весело воскликнул:

– Ну, господа, и анафема, я вам скажу, ветер! Так засвежел на половине дороги, что я думал: нам и не выгрести. Насилу добрались. И волна подлая... Все мы вымокли. Так и хлестало! И что за холод... Совсем замерз. Эй, вестовые! Скорей горячего чаю и коньяку! – крикнул он и пошел в свою каюту переодеваться, счастливый, что благополучно добрался и что в точности выполнил приказание и вернулся к одиннадцати часам. Он, еще совсем молодой моряк, первый раз попавший в дальнее плавание, конечно, стыдился сказать в кают-компании, как ему было жутко на баркасе, захлестываемом волной, как страшно и за себя, и за матросов, и как он, сам трусивший, с небрежным ухарским видом подбадривал усталых, вспотевших гребцов «навалиться», обещая им по три чарки на человека.

«Ах, как приятно, что все это прошло!» – пронеслось в голове у молодого мичмана, когда он быстро облачался в сухое белье, предвкушая удовольствие согреться горячим чаем с коньяком.

– Ну, теперь нам нечего ждать... Скорей бы пары, и айда к американочкам! Не правда ли, Лаврентий Иванович? – проговорил со смехом веселый лейтенант Сниткин.

Но Лаврентий Иванович только пожал плечами, надел свою походную старенькую фуражку и пошел наверх.

III

Опасения старого штурмана оправдались.

Только что подняли баркас в ростры и принаитовили (привязали) его, как после трех, последовательно налетевших жестоких шквалов заревел шторм, один из тех штормов, которые смущают даже и старых, опытных моряков.

Картина озверевшей стихии была действительно страшная.

По небу, с едва пробивающимися на свинцовом фоне голубыми кусочками, бешено и, казалось, низко неслись черные клочковатые облака и покрывали весь небосклон. Несмотря на утро, кругом стоял полусвет, точно в сумерки. Море, что называется, кипело. Громадные волны шумно и яростно нагоняли одна другую, сталкивались и рассыпались в своих верхушках алмазной пылью, которую подхватывал вихрь и нес дальше. Страшный рев бушующего моря сливался с ревом дьявольского ветра. Встречая в клипере препятствие, он то сердито выл, то проносился каким-то жалобным стоном в такелаже и мачтах, в люках и дулах орудий, гнул стеньги, потрясал поднятые на боканцах шлюпки, срывал непринайтовленные предметы и сердито трепал бесчисленные снасти.

Словно обезумевший, освирепевший зверь, бросался он на маленький клипер, как будто грозя его уничтожить со всеми его обитателями. И «Ястреб», встретивший грудью врага, то и дело вздрагивал на своих вытравленных канатах и, казалось, вот-вот сорвется с натянувшихся, гудевших цепей. Его дергало на них все больше и больше, и он, бедный, точно от боли, скрипел всеми своими членами и стремительно качался, уходя бугшпритом в воду и отряхиваясь при подъеме, точно великан-птица, от воды.

Нахлобучив на лоб фуражку, чтоб ее не сорвало ветром, стоял капитан на мостике, цепко держась одной рукой за поручни. В другой у него был рупор. Ледяной ветер дул ему прямо в лицо, пронизывая его всего холодом, но капитан, не покидавший мостика уже около часа, казалось, не чувствовал ветра, весь сосредоточенный, страшно серьезный и, по-видимому, совершенно спокойный. Однако это спокойствие, стоившее ему усилия, было лишь наружным спокойствием моряка, умеющего владеть собой в серьезные минуты. В душе у этого самолюбивого, отважного человека была мучительная тревога, и все его существо было в том нервном напряжении, которое при частых повторениях нередко преждевременно старит моряков и в нестарые еще годы делает их седыми. Он хорошо понимал опасность положения клипера и вверенных ему людей и, ввиду страшной нравственной ответственности, испытывал жгучие упреки совести. Его самонадеянная уверенность – виной всему. Зачем он не послушал вчера совета старого, много плававшего штурмана?.. Зачем он не ушел?.. И вот теперь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.